Асмодей Денница

Хищные боги



Асмодей Денница

ХИЩНЫЕ БОГИ

«Автор»
2026

Денница А.

ХИЩНЫЕ БОГИ / А. Денница — «Автор», 2026

Шестьдесят шесть миллионов лет назад на Земле существовала цивилизация. Она не верила в богов. Она сама была богами — и платила за это.Конец мелового периода. Империя Силурис, выращенная из живой кости, стоит на пороге вечности. Её жрецы-Архитекторы выводят из яиц боевых тираннов, которых не могут прокормить ни топь, ни горы. Её Королева-матка Эсстра — улей-сознание, которое держит геном и волю всех каст в одном поводке. Её тень — близнец верховного жреца, убийца, которого никто не видел. Империя не знает голода, не знает смерти, не знает сомнений. Империя не знает, что по небу, неумолимо приближаясь, идёт камень.Убийство наследника трона запускает цепь, которую никто не планировал. Воин Тер-Аккан из клана Терр, страж королевской кладки, оказывается единственным свидетелем. Но он не просто видел убийцу — он носит за пазухой тёплый осколок Нити, живой кристалл, в котором спят сознания владык, что жили до Силуриса...

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Керн из глубины 5
АКТ I. СКОРЛУПА. ГЛАВА 1. Птенцы трона 15
ГЛАВА 2. Чешуя над хребтом 23
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Асмодей Денница
ХИЩНЫЕ БОГИ

ПРОЛОГ. Керн из глубины

Лёд не врёт. Врёт тот, кто заставляет лёд молчать.

Никогда не верь покою полярной ночи. Полярная ночь — это не тишина, это терпение. Она не спит, она умеет ждать дольше, чем любой, кто решил до неё докопаться. Ветер на Кольском шельфе в ноябре не завывает — он работает. Скоблит, шлифует, вгрызается в голую тундру, и в этом звуке есть что-то почти хозяйское: мол, вы тут на время, а я — навсегда.

Ольга Ветрова стояла у края бурового зева, в который уходила, утухая, трёхкилометровая нить стальной колонны, и думала о том, что человек, наверное, никогда не сможет жить с мыслью о глубине. Потому что глубина — это всегда вопрос, заданный без надежды на ответ. Шестьдесят шесть миллионов лет — такова была цена этой ямы. Восемьдесят четыре метра льда, потом отложения, потом мел, потом — стоп. Дырка в прошлом, пробуренная людьми, которые на прошлое не соглашались.

Она приехала сюда в конце сентября, когда полярный день уже догорал, а вместе с ним догорало и что-то внутри неё. Ехала она не за деньгами — хотя платили здесь хорошо, слишком хорошо, как платят за то, о чём потом не рассказывают. Ехала она за тишиной. После Москвы, после лаборатории, после того, как её имя второй год подряд не включали в список авторов большой работы по антропогенным маркерам, тишина была единственным лекарством, которое ей ещё помогало.

Специальность у Ветровой была странная, почти неприличная в академической среде. Она изучала техногенные следы. Не артефакты, не древние стоянки — следы. Тонкие, почти невидимые отпечатки, которые оставляет цивилизация на породе: изотопные сдвиги, магнитные аномалии, микрочастицы пластмасс, следы высокотемпературного обжига, концентрации редких металлов, не свойственные природе. Она умела читать камень так, как другие читают документы. И потому, когда на Кольском шельфе, в меловых отложениях, приборы показали то, чего быть не могло, начальство вспомнило именно о ней.

Ей позвонили в середине сентября. Голос в трубке был вежливый, усталый и очень настойчивый.

— Ольга Владимировна, нам нужен человек, который умеет отличать природные аномалии от... — Пауза. — От всего остального.

— Какого остального?

— Приезжайте. На месте разберётесь.

Она приехала. И вот теперь стояла у бурового зева, в полярной ночи, и смотрела, как из глубины поднимается то, что не должно было существовать.

Буровая платформа МГ-4 стояла на льду, в двенадцати километрах от берега, и издалека была похожа на скелет огромной рыбы, выброшенной на снег. Четыре опоры, ферма, вышка, вагончики, трубы, обмотанные нагревательным кабелем, — всё это тонуло в метели и казалось не построенным, а выращенным, как нарост на теле льда. Вокруг не было ничего. Ни сопок, ни скал, ни огней. Только белое — до горизонта, — и чёрное небо, в котором не было ни звёзд, ни луны, ни даже намёка на рассвет.

Ветрова любила это место. Не за красоту — красивым оно не было. За честность. Здесь, на краю мира, никто не притворялся. Ветер не притворялся ласковым, лёд не притворялся

твёрдым, люди не притворялись, что им здесь нравится. Всё было тем, чем было. И именно поэтому здесь было легче думать.

Буровая работала круглосуточно. В три смены, по восемь часов, с пересменкой в спешке и перекуром на морозе. Ветрова знала всех по именам — не потому, что была общительной, а потому, что иначе здесь было нельзя. Здесь, где до ближайшего жилья было двести километров, люди либо становились друг другу кем-то, либо сходили с ума. Третьего не дано.

Бригадиром был Пётр Ильич, огромный, молчаливый, с обмороженным лицом и руками, которые не дрожали даже на ветру. Он проработал на севере тридцать лет и знал лёд так, как Ветрова знала камень. Он никогда не спрашивал, зачем она здесь. Он просто делал свою работу и не мешал ей делать её.

— Ольга Владимировна, — сказал он однажды, когда они стояли у вышки и смотрели, как из скважины поднимается очередная колонна. — Вы ведь не просто так сюда приехали. Не за зарплатой.

— Не за зарплатой, — согласилась она.

— И не за наукой.

— Почему вы так думаете?

— Потому что наука сюда не ездит. — Он усмехнулся в бороду. — Наука сидит в Москве и пишет бумаги. А сюда ездят те, кому нечего терять. Или те, кто что-то потерял.

Ветрова промолчала. Он был прав. Она что-то потеряла. Не человека — хотя и человека тоже, — а веру. Веру в то, что если ты делаешь всё правильно, то в конце концов тебя заметят. Что если ты будешь копать глубоко и честно, то рано или поздно доберёшься до правды. Что правда вообще существует.

Здесь, на льду, она впервые за два года почувствовала, что, может быть, ещё не всё потеряно. Потому что лёд не врал. Лёд был честен. И если в нём что-то было — оно там было. Настоящее. Не придуманное.

Вторым человеком, с которым Ветрова сошлась по-настоящему, был Дмитрий Соловьёв. Вулканолог. Тридцать восемь лет, борода, обветренное лицо, привычка спорить со всеми и обо всём. Он приехал на платформу за месяц до неё — изучать древние магматические события, следы которых сохранились в меловых отложениях шельфа. Работа была скучная, рутинная, и Соловьёв откровенно скучал.

— Я думал, здесь будет интереснее, — сказал он в первый вечер, когда они сидели в столовой и пили чай. — Ну, знаете, как в кино. Вулканы, лава, всё такое.

— Здесь не будет вулканов, — сказала Ветрова. — Здесь мел.

— Вот именно. — Он вздохнул. — Мел. Шестьдесят шесть миллионов лет мела. Знаете, что самое обидное? Я мог бы сейчас быть в Камчатке. Там сейчас извержение. Настоящее. С лавой, с пеплом, с красивыми фотографиями. А я здесь. С мелом.

— Почему же вы не в Камчатке?

Соловьёв помолчал. Потом усмехнулся.

— Потому что в Камчатке я уже был. — Он отхлебнул чай. — И чуть не остался там навсегда. В прямом смысле. В 2012-м, на Толбачике, нас накрыло. Пеплопад, видимость — ноль, связь — ноль. Мы сутки сидели в палатке, дышали через тряпку и слушали, как снаружи всё грохочет. — Он помолчал. — С тех пор я предпочитаю мел. Мел спокойнее.

Ветрова посмотрела на него. В его глазах — серых, усталых — было что-то такое, что она узнала. То самое, что видела в зеркале каждое утро. Человек, который однажды посмотрел в лицо чему-то большому и с тех пор не может забыть.

— А вы? — спросил он. — Почему вы здесь?

— Потому что меня не взяли в одну работу, — сказала она. — И я обиделась.

Соловьёв засмеялся. Впервые за вечер.

— Честно, — сказал он. — Наконец-то хоть кто-то говорит честно. А то все тут делают вид, что приехали за наукой.

— А вы?

— А я приехал за мелом. — Он поднял чашку. — За спокойным, тихим, скучным мелом. Который никогда ничего не взрывает.

Они посмеялись. Тогда они ещё не знали, что мел взорвёт всё.

Первый сигнал пришёл за неделю до того, как Ветрова увидела керн.

Она сидела в лабораторном контейнере и обрабатывала данные магнитной съёмки. Работа была механическая, почти медитативная: загрузить профиль, убрать фоновый шум, отметить аномалии, сравнить с эталоном. Она делала это сотни раз. И вдруг на экране появился пик.

Небольшой. Всего в полтора раза выше фона. Но резкий, узкий, идеально симметричный. Такой, каких в природе не бывает. Природные аномалии всегда размытые, несимметричные, с плавными краями. А этот пик был как удар ножом: резко вверх, резко вниз.

Ветрова уставилась на экран. Потом перепроверила данные. Потом перепроверила ещё раз. Пик остался.

— Дмитрий, — позвала она. — Иди сюда.

Соловьёв пришёл, посмотрел на экран, почесал бороду.

— Магнетит, — сказал он. — Обычное дело. В мелу бывает.

— Не бывает. Не такой формы.

— Ну, бывает. — Он пожал плечами. — Может, вкрапление. Может, обломок породы. Мало ли.

— Дмитрий. — Ветрова повернулась к нему. — Посмотри на симметрию. Это не вкрапление. Это... — Она замолчала, подбирая слово. — Это как провод.

Соловьёв посмотрел на неё долгим взглядом. Потом снова на экран. Потом снова на неё.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Понимаю.

— Провод в мелу. Шестьдесят шесть миллионов лет.

— Я не говорю, что это провод. Я говорю, что это похоже на провод.

— Ольга. — Он вздохнул. — Ты устала. Мы все устали. Пойди поспи.

Она не пошла спать. Она просидела над этим пиком всю ночь, и к утру у неё было три версии — и ни одна из них не объясняла того, что она видела.

Керн подняли через неделю.

Ветрова как раз была на вышке, когда бригада начала подъём. Она слышала, как взвыла лебёдка, как загудел трос, как Петр Ильич выругался в рацию. Потом из зева показалась колонна — мокрая, блестящая, в наледи, — и её повели к лабораторному контейнеру.

— Шестой образец, — сказал мат, помогая укладывать керн в желоб. — С глубины двадцать один метр от дна. Там что-то странное, Ольга Владимировна. Прибор зафиксировал пик. Такой, знаете... — Он замялся. — Резкий.

— Резкий, — повторила она.

— Как будто кто-то провёл черту.

Ветрова посмотрела на него. Потом на керн. И почувствовала, как у неё внутри что-то сжимается — не от страха, а от того странного, почти забытого чувства, которое бывает, когда долго ищешь и наконец находишь. Или когда думаешь, что нашла, — а потом понимаешь, что нашла не то, что искала.

Она натянула перчатки и подошла к желобу.

Лабораторный контейнер на вышке пах горячим металлом, пластиком и — глубже, из-под всего этого — серой. Пах серой так, как пахнет только настоящий глубокий камень: не приправой, а памятью. Керн лежал в желобе, распиленный на метровые секции, тусклый, как окаменевшая глина, и внешне ничем не примечательный. Ветрова провела по нему рукой в перчатке, счищая влажную крошку, и на мгновение ей показалось, что камень тёплый. Это невозможно — керн только что прошёл через три километра земного льда и холода. Но секунду она держала ладонь, не отнимая.

— Образец отобран по визуальному признаку? — спросила она, не оборачиваясь.

— Не совсем. По магнитному. Прибор зафиксировал пик там, где пика быть не может. На глубине двадцать один метр от дна скважины. Прямо в слое меловых отложений.

— Магнитный пик в мелу, — повторила она задумчиво. — Обычный магнетит. Это нормально.

— Нет, Ольга Владимировна. Обычный магнетит не даёт такого спектра. Придётся посмотреть самим.

Она сняла перчатки, потому что голыми пальцами керн чувствовался лучше. Провела вдоль секции. В лунном свете прожекторов порода казалась серой, однородной. Но под пальцами, под слоем влажной крошки, она нащупала что-то. Резкую, неприродную границу. Не трещину — границу. Словно внутри камня прошло ножом, и половина стала другой плотности. Ветрова нахмурилась.

— Поверните ближе к свету.

Мат послушно кантовал секцию. Ольга наклонилась почти вплотную, её собственное дыхание облачком осело на камень, покрываясь изморозью. И вот тогда она увидела это. Не наверняка, но достаточно, чтобы сердце пропустило удар. Внутри керна, на глубине двадцати одного метра от дна скважины, в меловых отложениях шестидесятишестимиллионной давности, проходила ровная, технологически ровная линия. Не слой осадка, не окаменелость. Линия, проведённая с той геометрической точностью, которой природа не знает, потому что природа не умеет делать прямых линий глазами.

Она отшатнулась.

— Это.

— Да, — сказал мат, и голос его дрогнул. — Я тоже думал, что мне показалось.

— Кто ещё видел?

— Никто. Я сразу к вам пошёл.

— Молчите об этом. Всем. Я сейчас вызову вулканолога.

Вулканолог Дмитрий Соловьёв пришёл, хлопнув дверью, скинул капюшон, с которого посыпалась снежная крошка, и сходу невежливо спросил, зачем её в неурочный час разбудили из-за какого-то мела. Он был из той породы людей, которые не верят ничему, что нельзя потрогать и взорвать. Десять лет изучения древних магматических событий убедили его в одном: Земля — это огромная самоподдерживающаяся катастрофа, и за каждым слоем породы стоит либо взрыв, либо извержение, либо удар.

— Вот, — сказала она, пододвигая ему секцию под свет. — Полюбуйся. Линия в мелу. Ровная, прямая, не природная.

Соловьёв посмотрел. Почесал бороду, обледеневшую по краям. Покачал головой.

— Это деформация. Уплотнение при литификации. Или разлом, залеченный цементом. Скажи спасибо, что не кроко.

— Нет, Дмитрий. Посмотри на микроструктуру. Я взяла пробу на окуляр. Там структура не осадочная. Там словно спечённая керамика, обжиг, термический след. Это не порода, это технология.

Он взял окуляр сам. Долго молчал, двигая бровями. Потом очень медленно отложил прибор и посмотрел на неё уже другими глазами.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?

— Я сказала то, что вижу. Не то, что хочу.

— Где глубина прохода?

— Двадцать один метр от дна скважины. Меловой ярус. Верхняя часть маастрихта. Шестьдесят шесть миллионов лет, плюс-минус.

Соловьёв достал термометр из сапога, сунул в карман, расстегнул парку. Прожекторы резали его лицо тенями, и на этом лице боролись два чувства: профессиональная гордость вулканолога, который никогда не верил в красоту «необъяснимого», и тот холодный, поднимающийся из живота интерес, с которым начинается настоящая наука.

— Термический след, говоришь.

— Термический. Высокотемпературный обжиг. Такой, какой даёт только электродуга или плазма. Ни один природный процесс в осадочном мелу не даст температуры, способной спечь карбонатную породу по ровной линии толщиной в волос — и оставить всё вокруг нетронутым.

— А что может?

Ветрова посмотрела на него долгим взглядом. Вообще-то она это знала последние три часа, лежала и перебирала варианты, перебирала и отметала один за другим, пока не остался один, в который сама не хотела верить.

— Сварка, — сказала она тихо. — Электрическая дуговая сварка. Кто-то резал этот камень током, такого животного, о котором мы не знаем, прокалил плазмой по линии и оставил как есть. Шестьдесят шесть миллионов лет назад.

Пауза повисла такая тяжёлая, что её можно было жевать, как гудрон.

— Это бред, — сказал Соловьёв, но сказал уже без той уверенности, с которой заходил в контейнер. — Электрическая сварка в маастрихте. Ты слышишь себя? Это же.

— Я знаю, что я говорю. У меня три публикации по техногенным следам в кернах нового времени. Я видела сотни таких. Магнитные аномалии, термические микроструктуры, углеродные сигнатуры. Я узнала бы это где угодно. Вопрос не в том, что это. Вопрос в том, кто это сделал до того, как на Земле вообще появились инструменты.

— Значит, либо ты ошиблась.

— Не ошиблась.

— Либо у нас проблема посильнее любой, о которой мы думали.

— Дмитрий. Это самое начало. Посмотри на следующий образец. Я его не резала — он пришёл из шурфа, где я копнула на пять сантиметров в сторону. Там под линией идёт второе явление. Слои тяжелых металлов, плотной струей, синхронно по всему профилю. Не природное залегание. Там словно.

— Словно что?

— Словно проводка. Старая, мертвая, обесточенная проводка, тянувшаяся по каменному пласту. И на концах — термические узлы, похожие на места подключения.

Соловьёв взял себе ещё один окуляр. Ветрова молча ждала, чувствуя, как мороз ползёт по спине — не от холода, а от того, что она позволяла себе произнести вслух вещи, которые учёный произносить вслух не должен, если хочет дожить до пенсии.

— Это грязь, — сказал он, наконец. — Я хочу верить, что это грязь. Обогащение металлами в зоне гидротермальных потоков. Малые количества, фаза стабилизации. Такое бывает.

— Не синхронно. Не по прямой. Не с узлами подключения.

— Ольга.

— Дмитрий.

Они смотрели друг на друга через три метра лабораторного контейнера, над жёлтым желобом с каменным телом, пролежавшим под землёй шестьдесят шесть миллионов лет. Снаружи завывал ветер, мотающий вышку, как тростинку. Где-то очень глубоко внизу, под ними,

под три километра льда и камня, в меловом ярусе лежало то, что не должно было лежать: след, оставленный не природой. След, оставленный тем, что умело плавить породу током.

И где-то — Ветрова почувствовала это кожей, хотя не могла бы этого объяснить — в этом следе что-то было. Не мёртвое. Не совсем. Оно спало. Оно терпело. Оно ждало, как умеет ждать только настоящая полярная ночь.

— Я звоню в Москву, — сказала она наконец.

— И что ты им скажешь? Что в меловом ярусе нашлась сварка? Тебя поднимут на смех. Отберут керн, спишут в архив, и через год тут будет обогатительный комбинат, а след пропадет.

— А что ты предлагаешь? Молчать?

— Молчать нельзя. Но и орать об этом на всех углах нельзя. Нужно сначала понять самим, что это. До койки спать не будем, если надо. У меня в вагончике есть хроматограф, масс-спектрометр старенький, но живой. Разбудим лабораторию своими руками, сожжем образец по-настоящему, посмотрим, что останется. И только потом — решим, кому сказать.

Она кивнула. Наверное, это было глупо. Наверное, следовало немедленно доложить наверх и переложить ответственность. Но в эту ночь, в этом полярном аду, среди льда и ветра, Ольга Ветрова до конца не верила ни одному начальству на свете. Потому что знала: камень не врёт. Врёт тот, кто заставляет камень молчать.

Они проработали до утра. Вернее, до той смены света, которую здесь в это время года называют утром: когда серый диск солнца, не в силах взойти, касался края горизонта, окрашивая снег в стальной, безжизненный цвет. Ветрова и Соловьёв резали образцы, жгли их в вакуумной камере, гоняли через хроматограф и смотрели на спектры. Результаты выстраивались в картину, которая не хотела собираться сама собой.

Тяжелые металлы. Не природный разброс — а сконцентрированные, в несколько раз выше фоновых значений, выстроенные в одну полосу, повторяющую линию термического обжига. Вольфрам, титан, ванадий, молибден. Металлы, которые в природе не концентрируются в осадочных отложениях — они рассеиваются, окисляются, мигрируют. Здесь же они лежали, как окаменевшие провода, и термические узлы на концах, о которых говорила Ветрова, отзывались на масс-спектрометре сигнатурами невероятной чистоты, словно были изготовлены в цеху, где металл плавили с контролем, недоступным никакой природе.

— Ольга, — сказал Соловьёв, не отрываясь от спектра, и голос его сделался совсем чужим. — Ты это видишь? Ты видишь это?

— Вижу. И не понимаю.

— Это же. Это же структура полупроводника. Концентрация донорной примеси, легирование в стехиометрическом соотношении. Кто-то легировал вулфрамит, как легируют чипы. В меловом ярусе. Шестьдесят шесть миллионов лет назад. Кто-то, кого здесь не было.

Она подошла ближе, посмотрела через его плечо на распечатку, на которую он давил пальцем, как на гадюку. И почувствовала, как по затылку бегут мурашки — те самые, что предупреждают: человек стоит на границе того, во что не хочет верить.

— Есть ещё кое-что, — тихо сказала она. — Я не хотела говорить, пока не убедлюсь.

— Говори.

— Углерод. В образце, который мы сожгли, углеродный изотопный состав. Lo помнишь, как пахло при горении?

— Пахло. Словно что-то.

— Словно живое, — закончила она за него. — Изотопный сдвиг, который встречается только в органике. Только в живых тканях. В карбонатной породе, которой шестьдесят шесть миллионов лет, должны быть только неорганические изотопы. А здесь — сдвиг, совпадающий с органическим. Так пахнет не камень.

— Так пахнет то, что когда-то дышало.

Наступило долгое молчание. В контейнере пахло горелым, металлом, воском — и этим странным, тёплым, почти мясным запахом, от которого не получалось избавиться. Ветрова вспомнила, как ей показалось утром, что керн тёплый. Теперь она уже не была уверена, что это ей показалось.

— Нужно резать глубже, — сказал Соловьёв наконец. — Керн цельный, там, под линией, опять же узлы. Мы должны понять, что это. Что это было — и есть ли оно ещё здесь.

— Есть, — сказала Ветрова, сама удивлённо. — Чувствуешь? Не знаю, как объяснить. Но оно есть. Оно спит. И оно.

— Оно?

— И оно очень терпеливое.

Соловьёв сглотнул. Опустил глаза на распечатки, на керн, на свои обмороженные пальцы. И сказал то, что они оба думали, но ни один не смел произнести:

— Мы последние. Если мы не сойдём с ума и не сообщим всему, что спит в этих шестидесяти шести миллионах лет... мы последние, кто имеет право это увидеть. Потому что дальше это либо уничтожат, либо это уничтожит. Решай, Ольга. Мы копаем глубже — или закрываем скважину, заливаем бетоном и забываем, что это было.

Ветрова долго молчала. Потом взяла в руки секцию керна. Она была холодной, гладкой, тяжёлой. Но через толстую перчатку, через все слои льда и времени, ей почудилось биение. Пульс. Не сердца — нет. Более древний. Более медленный. Как будто где-то там, в глубине каменного тела, что-то долгое время считало — и наконец досчитало.

— Копаем глубже, — сказала она. — Я хочу знать, кто нас читает.

Ветер снаружи в этот момент будто вздохнул — глубоко, по-живому, и буровая вышка качнулась, как маятник. Ветрова не обернулась. Она держала в руках шестьдесят шесть миллионов лет — и ей казалось, что они держат её в ответ.

Но до этого ещё надо было дожить.

На третий день после находки на платформе началось то, что Пётр Ильич называл «северным сюрпризом». Барометр упал за два часа. Ветер сменился с северо-западного на северо-восточный и усилился до тридцати метров в секунду. Связь с берегом пропала — сначала неуверенно, с треском и обрывками фраз, потом окончательно, в глухое шипение.

— Шторм, — сказал Пётр Ильич, глядя в окно рубки. — Двое суток, может, трое. Никто не выходит. Никто не поднимает керн. Сидим, греемся, ждём.

— А скважина? — спросила Ветрова.

— Скважина закрыта. Колонна зацементирована. Ничего с ней не случится. — Он помолчал. — С ней-то ничего. А вот с нами...

Он не договорил. Ветрова и так поняла.

Шторм пришёл вечером. Сначала — стена снега, белая, плотная, как вата, которая закрыла всё: небо, лёд, вышку, вагончики. Потом — ветер, который бил в стены так, что казалось, будто кто-то огромный и очень терпеливый пытается оторвать контейнер от льда. Потом — гул. Не ветра. Чего-то другого. Низкий, ровный, вибрирующий, от которого дрожали стаканы на столе и ныли зубы.

— Это лёд, — сказал Соловьёв, но как-то неуверенно. — Лёд двигается. Трещины. Обычное дело.

— Это не лёд, — сказала Ветрова.

Она сидела у приборов и смотрела на экран. Магнитный фон, который она отслеживала, вёл себя странно. Не хаотично, как бывает при шторме. Ритмично. Пик, пауза, пик, пауза. С интервалом в двенадцать секунд. Как пульс. Как дыхание.

— Дмитрий. — Она поманила его. — Смотри.

Он подошёл, посмотрел, и лицо у него медленно вытянулось.

— Это не может быть лёд, — сказал он.

— Я знаю.

— Это... — Он замолчал. — Это идёт из скважины.

Они переглянулись. За стенами выл ветер. В контейнере гудел обогреватель, и на столе дрожали стаканы. А на экране, ровно, спокойно, с интервалом в двенадцать секунд, бился пик.

— Надо посмотреть, — сказала Ветрова.

— Ты с ума сошла. Там ветер тридцать метров. Он тебя сдует.

— Я не пойду наружу. Я посмотрю через камеру. На вышке есть камера, которая смотрит на зев.

Она включила монитор. Камера работала — сквозь снежную крупу, сквозь рябь помех, — и на экране был виден зев скважины. Тёмный круг в белом. И в этом круге что-то было.

Не движение. Не свет. Что-то другое. Словно сам воздух над скважиной дрожал — мелко, часто, — как дрожит воздух над горячим камнем. И в этом дрожании была та же ритмичность. Двенадцать секунд. Пауза. Двенадцать секунд.

— Оно дышит, — прошептал Соловьёв.

— Оно не дышит, — сказала Ветрова. — Оно... работает.

Она не знала, что это значит. Но слово было правильным. Именно работает. Как работает насос. Как работает сердце. Как работает то, что очень долго спало и наконец проснулось.

Шторм длился три дня. Три дня они не выходили из вагончиков, слушали вой ветра и смотрели на экран, где с интервалом в двенадцать секунд бился пик. Три дня Ветрова почти не спала. Она сидела у приборов, пила чай, который стыл в кружке, и думала.

Она думала о том, что знает. О том, что в меловом ярусе, под тремя километрами льда и камня, лежит нечто, оставленное разумом. Не природой. Разумом. И это нечто не мёртво. Оно работает. Оно ждёт.

Она думала о том, что будет, если они расскажут. Им не поверят. Или поверят — и тогда сюда приедут другие люди. Не учёные. Те, кто умеет заставлять камень молчать. Она видела таких. В девяностые, в двухтысячные, в двадцать первом году. Люди, которые приходят и говорят: это не ваше дело. Люди, которые умеют заливать бетоном не только скважины.

Она думала о том, что будет, если они не расскажут. Тогда это останется здесь. Под льдом. Под камнем. И будет ждать. Двенадцать секунд. Пауза. Двенадцать секунд.

И она думала о том, что где-то очень высоко, за слоями облаков, за краем атмосферы, в чёрном вакууме, поднимается над горизонтом нечто, о чём она ещё не знала и знать не могла: каменное тело, десятикилометровый камень, что вёл свою собственную, нечеловеческую орбиту вокруг Земли. И что этот камень — она почему-то была уверена — тоже ждёт. Тоже считает. Тоже помнит.

На четвёртый день шторм стих. Ветер упал, снег осел, и в разрывах облаков показалось небо — чёрное, чистое, с редкими звёздами. Связь с берегом восстановилась. Первый же звонок был из Москвы.

— Ветрова? — Голос в трубке был сухой, деловой. — Как дела на объекте?

Она стояла в рубке, сжимая трубку, и смотрела в окно, где над скважиной всё ещё дрожал воздух — мелко, часто, ритмично.

— Нормально, — сказала она. — Работаем.

— Керн подняли?

— Подняли.

— Что-нибудь интересное?

Она помолчала. В трубке шуршало. За окном дрожал воздух.

— Нет, — сказала она. — Ничего интересного. Обычный мел.

Она положила трубку и вернулась в лабораторию. Соловьёв ждал её у приборов.

— Ну? — спросил он.

— Ничего не сказала.

Он кивнул. Будто ждал этого.

— Значит, копаем глубже, — сказал он.

— Копаем глубже, — согласилась она.

Этой ночью ей приснился сон.

Она стояла на берегу моря — тёплого, мелкого, с водой цвета чая. Над головой было небо, которого она никогда не видела: слишком близкое, слишком большое, с двумя лунами. По берегу ходили существа. Высокие, узкие, с гладкой кожей и длинными пальцами. Они что-то строили. Не из камня — из чего-то живого, что росло у них под руками, как растут кораллы.

Одно из существ повернулось к ней. У него было четыре пары глаз. И в этих глазах — она увидела — было то же самое, что она видела в керне. Не злоба. Не голод. Терпение. Очень старое, очень глубокое терпение.

Оно посмотрело на неё и сказало — не голосом, а всем телом, каждой чешуйкой:

«Ты пришла. Наконец-то. Мы ждали так долго».

Ветрова проснулась в холодном поту. За окном выл ветер. На столе дрожали стаканы. А на экране, ровно, спокойно, с интервалом в двенадцать секунд, бился пик.

Она села на койке и долго смотрела в темноту. Потом встала, надела парку и вышла наружу.

Ночь была ясной. Звёзды — крупные, холодные — висели над самой вышкой. Дыхание вырывалось облаком и таяло. Ветрова подошла к зеву скважины и остановилась в двух шагах.

Воздух над ним дрожал. Мелко, часто, ритмично. Двенадцать секунд. Пауза. Двенадцать секунд.

Она протянула руку — не касаясь, просто чтобы почувствовать, — и ей показалось, что от зева идёт тепло. Не холод, не мороз, а именно тепло. Ровное, спокойное, как от спящего тела.

— Кто ты? — прошептала она.

Ответа не было. Но где-то очень глубоко, под тремя километрами льда и камня, что-то шевельнулось — медленно, тяжело, — и Ветровой показалось, что в этом движении был ответ. Не словами. Теплом. Очень старым теплом, в котором было что-то похожее на: «Я — то, что было до вас. И я — то, что будет после».

Она стояла у скважины до утра. А когда небо посерело и ветер стих, вернулась в лабораторию и села за стол. Перед ней лежал керн — серый, тяжёлый, с ровной линией, прочерченной шестьдесят шесть миллионов лет назад. И Ветрова вдруг поняла, что больше не боится. Не потому, что была храброй. А потому, что бояться было уже поздно.

Она взяла блокнот и написала первую строку будущего отчёта:

«В меловых отложениях Кольского шельфа обнаружены следы технологической деятельности, не имеющей природного аналога. Возраст — около 66 млн лет. Рекомендуется углублённое бурение».

Потом посмотрела на эту строку и добавила вторую:

«Возможно, мы не первые».

И третью — уже не для отчёта, а для себя:

«И, возможно, не последние».

Высоко над головой, за слоями облаков, за краем атмосферы, в чёрном вакууме поднималось над горизонтом нечто, о чём они ещё не знали и знать не могли: каменное тело, десятикилометровый камень, что вёл свою собственную, нечеловеческую орбиту вокруг Земли — орбиту, которая через шестьдесят шесть миллионов лет, в определённой точке своей траектории, должна была вновь пересечься с этой планетой.

Но это случится потом. Сейчас, в лабораторном контейнере, посреди полярной ночи, двое учёных смотрели на следы разума там, где разума быть не должно.

И где-то очень глубоко, в меловом ярусе, что-то спало — терпеливое, древнее, и не собиралось просыпаться раньше тех, кто придёт за ним.

АКТ I. СКОРЛУПА. ГЛАВА 1. Птенцы трона

Из несчётных яиц судьба выбирает одно. Остальные — корм.

Скорлупа помнила всё.

Она росла из земли, как растут только кости — медленно, слоями, наращивая себя изнутри наружу, пока не становилась городом. Не было в ней ни одного угла, который кто-то нарочно выпилил бы, ни одной стены, которую кто-то сложил бы по кирпичу. Всё было выращено: переплетения известковых рёбер, поднимавшихся на сорок локтей над болотистой низиной; своды, что держались на прожилках, наполненных горячей кровью; переходы, что в непогоду вздувались и опадали, как лёгкие. И запах — повсюду один и тот же запах, от которого у пришлых кружилась голова: тёплый, солоноватый, чуть сладковатый запах живой кости, пропитанной солями и временем.

Гнездо стояло на болотах уже тысячу лет. Или две тысячи. Никто точно не знал — жрецы говорили, что считают время от первого яйца, но первого яйца никто не видел, и первой Матки тоже, и потому счёт этот был таким же, как всё в Гнезде: гладким снаружи и пустым внутри. Важно было не то, сколько Гнездо стоит. Важно было то, что оно стоит. Что оно растёт. Что оно живёт.

А оно жило. Тер-Аккан чувствовал это каждым нервом, каждой чешуйкой, каждым ударом сердца. Гнездо дышало. Гнездо текло. Гнездо переваривало. В нижних кольцах, где ютились Сырые, было тепло и тесно, как в чреве; в средних, где жили воины, — сухо и гулко, как в груди; в верхних, где обитали жрецы, — прохладно и чисто, как в черепе. И всё это было одним существом. Одним телом. Одним городом-зверем, который спал, ел, рос и не собирался умирать.

Тер-Аккан стоял в утреннем тумане у южных ворот Гнезда и смотрел, как из тумана выходит стража. Его вторая смена у королевской кладки. Ему не было ещё и двадцати сезонов, чешуя на плечах не затвердела до конца, и в Гнезде над такими, как он, добродушно посмеивались: молоко на клыках. Он не обижался. Он вообще мало на что обижался — качество, которое в его клане считали почти пороком. Терр, старое гнездо у западных топей, выводил воинов терпеливых, а не вспыльчивых. Вспыльчивые умирали молодыми. Терпеливые — тоже, но позже и с большей пользой.

Стража выходила из тумана медленно, будто не шла, а выплывала. Восемь воинов, все в костяных доспехах, все с копьями, все с одинаковыми, ничего не выражающими лицами. Впереди шёл распорядитель — старый, с выцветшей, почти белой чешуёй, с гребнем, изрубленным в двух местах старыми шрамами. Он остановился перед Тер-Акканом и оглядел его с ног до головы.

— Тер-Аккан из Терра, — сказал он. — Назначен в четвёртое кольцо. Внутренние покои. Смена до полудня.

— Слушаюсь.

— Яиц касаться нельзя. Даже взглядом долго не касайся.

— Слушаюсь.

— Если увидишь движение скорлупы — зовёшь старшего, не бежишь сам.

— Слушаюсь.

— И не дыши на кладку. Она это чувствует.

Тер-Аккан кивнул. Распорядитель оглядел его ещё раз, будто взвешивал, и, ничего не сказав, ткнул когтем в сторону внутреннего прохода.

— Иди. И помни: в четвёртом кольце не любят тех, кто задаёт вопросы. Там любят тех, кто стоит и молчит. Ты умеешь молчать?

— Умею.

— Тогда иди.

Гнездо изнутри было непохоже на Гнездо снаружи. Снаружи — костяной холм, серый, обтекаемый, чуждый всему, что ползало и бегало по земле вокруг. Внутри — собор. Своды терялись в темноте, и в этой темноте теплились огни: не факелы, а живые пузыри, налитые желтоватым светом, что подвешивались под рёбрами свода и медленно пульсировали, дыша вместе с городом. По стенам текли жёлоба с горячей водой — город обогревал сам себя, гнал по своим венам кровь, от которой шёл пар. И везде, куда ни глянь, — яйца.

Тер-Аккан шёл и смотрел. В нижних кольцах яйца были мелкими, с кулак, и лежали в общих нишах, как гнёзда мелкой живности. В средних — крупнее, в человеческий рост, и каждая ниша была отдельной, с меткой клана. А здесь, в четвёртом кольце, куда он поднимался по спирали, яйца были огромными, в рост взрослого воина, и стояли по одному, в отдельных нишах, обитых мягкой тканью. Здесь, в сердце Гнезда, выводили не простых воинов. Здесь выводили тех, кто будет стоять у трона. Кровь трона, старшая линия, последняя надежда Силуриса — так говорили жрецы.

Яйца стояли в нишах, втопленных в стены, как в гнёздах-соты. Крупные, гладкие, цвета слоновой кости с прозелёнью, они были тёплыми на ощупь даже издали — от них шёл пар, тонкий, сладковатый. Тер-Аккан шёл вдоль стены, стараясь ступать мягко. Пол под ногами был тёплым и податливым, как живой. Стены дышали. Где-то в глубине, за перегородкой из перепонок, глухо стучало сердце — не одно, много, сбитые в один ритм. Город жил. Это было первое, чему здесь учили: Гнездо — не здание. Гнездо — существо.

Он остановился у третьей ниши. В ней лежало яйцо, ничем не отличавшееся от прочих, разве что чуть крупнее. По скорлупе змеилась трещина — тонкая, волосяная, едва заметная. Тер-Аккан подошёл ближе, забыв наставление, и вдруг понял, что трещина не тянется сверху вниз, как бывает, когда птенец пробивает скорлупу изнутри. Она шла поперёк. Словно кто-то провёл по яйцу чем-то острым снаружи.

Он уже хотел позвать старшего, как велели, но не успел.

Скорлупа в нише дёрнулась. Раз. Другой. Трещина поползла, расширяясь, и из неё, вместе с мутной жидкостью, показалась голова. Маленькая, слепая, вся в плёнке. Птенец замер, тяжело дыша, и Тер-Аккан, сам не зная зачем, протянул руку и снял с его морды плёнку — осторожно, самым когтем, как учили снимать пленку с яйца домашней ящерицы, только в тысячу раз аккуратнее.

Птенец открыл глаза. Жёлтые, огромные, они смотрели прямо на него — и в них было не младенческое, а древнее, изучающее что-то, от чего у Тер-Аккана по загривку пополз холод. Птенец смотрел секунду, две, потом медленно, очень медленно, склонил голову набок — так, как склоняют голову, когда что-то запоминают.

— Ты, — прошелестел он. Голос был тонкий, но не детский — сухой, шершавый, будто говорил не птенец, а кто-то очень старый, говорящий через птенца. — Ты будешь помнить.

Тер-Аккан отшатнулся. Сердце колотилось где-то в горле. Птенец же, будто истратив на эти слова всё, что у него было, обмяк и затих, и скорлупа вокруг него сомкнулась, затянулась плёнкой, и трещина исчезла — так не бывает, так не должно быть, яйца не зарастают.

— Эй! — крикнул Тер-Аккан. — Старший!

Никто не отозвался. Коридор был пуст. Только пульсировали под сводом живые огни, только дышали стены, только где-то в глубине ровно, сыто стучало многоголосое сердце.

Он стоял над нишей и смотрел на гладкую, цельную, нетронутую скорлупу. И понимал, что видел то, чего видеть не должен был. И что птенец, который ещё не должен был вылупиться, уже умел говорить — и уже умел запоминать.

Голос за спиной раздался так внезапно, что Тер-Аккан едва не прыгнул.

— Что ты видел?

Он обернулся. В проёме стоял жрец. Высокий, сухой, в мантии из выделанных перепонок, с посохом, увитым живыми побегами, которые шевелились сами по себе. Лицо у жреца было узкое, длинное, с двумя парами глаз — верхняя пара смотрела прямо, нижняя чуть в сторону, и от этого казалось, что он видит сразу и тебя, и то, что за твоей спиной. Тер-Аккан узнал его сразу, хотя видел лишь издали, на церемониях. Чан-Дур. Сам Архитектор, верховный жрец-генетик, второй после Матки.

— Ничего, — сказал Тер-Аккан, и голос его не дрогнул. — Яйцо треснуло. Я позвал старшего.

— Ты позвал. — Чан-Дур подошёл ближе, и нижняя пара его глаз скользнула по нише, по скорлупе, по лицу Тер-Аккана. — А старший не пришёл. Странно, правда? В Гнезде на зов всегда приходят. Если зовут правильно.

Он остановился в двух шагах. От него пахло не костью, как от всех здесь, а чем-то другим — холодным, минеральным, как пахнет камень, в котором спрятано железо. Тер-Аккан стоял неподвижно, как учили: не беги, не оправдывайся, не смотри в сторону.

— Я слышал голос, — сказал Чан-Дур тихо. — Мне показалось, в этой нише кто-то говорил. Тебе не показалось?

— Мне показалось, — сказал Тер-Аккан. — Птенец пищал. Они всегда пищат.

— Пищал. — Жрец улыбнулся, и улыбка у него была как трещина в камне: тонкая, ровная, ничего не выражающая. — Что ж. Пусть пищит. — Он поднял посох и коснулся им скорлупы. Побеги на посохе потянулись к ней, обвили, и на миг Тер-Аккану показалось, что скорлупа под ними вздрогнула — как вздрагивает спящий, когда его касаются. — А ты, воин из Терра, запомни на будущее. В этом Гнезде яйца не трескаются сами. И птенцы не говорят раньше срока. Если тебе покажется иначе — значит, тебе показалось. Понял?

— Понял.

— Хорошо. — Чан-Дур отнял посох и пошёл прочь, не оглядываясь. У самого выхода он остановился и, не поворачивая головы, добавил: — И ещё. В четвёртом кольце служат до первого любопытства. Ты уже потратил своё. Постарайся, чтобы второго не было.

Он ушёл. Тер-Аккан стоял один в пустом коридоре, и сердце его стучало так громко, что, казалось, его слышит весь город. Он посмотрел на нишу. Скорлупа была гладкой и целой, будто ничего и не было. Будто ему и вправду показалось. Но на скорлупе, там, где её касался посох, остался тонкий, чуть заметный след — как ожог, как клеймо. И Тер-Аккан вдруг понял, что этот след он уже видел. Сегодня утром. На той самой линии, что шла поперёк камня, словно кто-то провёл по нему чем-то острым снаружи.

Полдень в Гнезде наступал не по солнцу — солнца здесь, под сводами, не видели никогда, — а по зову. С первым ударом большого сердца город просыпался окончательно; со вторым — начинались дела; с третьим — заканчивались смены. Тер-Аккан к третьему удару уже стоял у выхода из четвёртого кольца, и к нему, тяжело переваливаясь, подошёл старый воин — тот самый распорядитель, что утром отправлял его на смену.

— Живой, — сказал старик удовлетворённо. — Хорошо. В четвёртом кольце не все доживают до полудня.

— Доживают? — переспросил Тер-Аккан.

— Всегда кто-нибудь да не доживает. — Старик пожал плечами, будто говорил о погоде. — Яйца капризные. Птенцы голодные. Воины — тоже. — Он оглядел Тер-Аккана внимательнее. — А ты, я смотрю, чем-то напуган. Что, увидел что-нибудь?

Тер-Аккан помолчал. Вспомнил узкое лицо Чан-Дура, его улыбку-трещину, его слова: «значит, тебе показалось». И сказал:

— Показалось.

Старик хмыкнул.

— Ну и славно. Показалось — значит, живёшь правильно. — Он повернулся уходить, но на полпути остановился. — Слушай, воин из Терра. Ты, я вижу, из западных топей. Клан Терр, да?

— Да.

— Слыхал я, у вас там в топях, за хребтом, что-то странное творится последние сезоны. Говорят, звери уходят. Не туда, куда обычно, а куда-то к самым горам, к северу, где холод и камень. И тиранны — те, что дикие, — тоже уходят. Целыми стаями. Будто их кто-то зовёт.

Тер-Аккан нахмурился.

— Не слыхал.

— Не слыхал — и хорошо. Меньше знаешь — дольше живёшь. — Старик махнул когтем и ушёл, бормоча что-то себе под нос.

А Тер-Аккан остался стоять, глядя ему вслед, и в голове у него, помимо воли, складывались две вещи, которые не хотели складываться: трещина поперёк яйца — и то, что он увидел, когда наконец разжал кулак. На тёплом камешке, гладком, как отполированная галька, от края до края шла тонкая, волосяная линия. Прямая. Слишком прямая для трещины. Словно кто-то провёл по нему чем-то острым снаружи — и провёл очень давно, потому что края линии успели затянуться тем же тёплым свечением, что и весь камешек.

Он тряхнул головой, отгоняя морок, и пошёл к себе в караулку — маленькую нишу в стене, где пахло сушёной рыбой и мокрой костью. Там, на соломенном тюфяке, лежал его немудрящий скарб: нож из обсидиана, точильный камень, ремень, фляга. И — странная вещь, которую он подобрал ещё птенцом, в топях, у самой воды: гладкий, тёплый, чуть светящийся в темноте камешек, формой похожий на маленькое яйцо. Он не знал, что это. Никто не знал. Но камешек был тёплым даже в самый лютый холод, и иногда, если долго на него смотреть, в нём будто что-то двигалось — медленно, глубоко, как рыба подо льдом.

Тер-Аккан достал камешек, сжал в кулаке. Он был тёплым. Как всегда. И сегодня — впервые за много сезонов — ему показалось, что тепло это не просто тепло, а что-то вроде приветствия. Или предупреждения.

— Кто ты? — прошептал он.

Камешек не ответил. Но где-то очень глубоко, в самом низу, под всеми кольцами Гнезда, под костяными сводами и живыми стенами, под тёплой землёй, под холодным камнем — что-то шевельнулось. Медленно. Тяжело. Как шевелится во сне то, что спит уже очень, очень давно.

И Тер-Аккан, воин из Терра, двадцати сезонов от роду, стоял в своей караулке, сжимая в кулаке тёплый камешек, и впервые в жизни чувствовал, что за ним кто-то смотрит. Не Чан-Дур. Не Матка. Кто-то гораздо более древний. И гораздо более голодный.

На следующее утро, за два часа до смены, Тер-Аккана разбудили раньше обычного.

— Вставай, — сказал посыльный, тряся его за плечо. — Сегодня Распознавание. Все воины четвёртого кольца обязаны присутствовать.

Тер-Аккан сел на тюфяке, протирая глаза. Распознавание. Он слышал об этом ритуале, но никогда не видел его вблизи — только издали, с нижних галерей, куда пускали молодых. Раз в несколько сезонов, когда королевская кладка наливалась силой, жрецы устраивали Распознавание: обряд, во время которого Матка — или её воля — выбирала из яиц те, что достойны трона. Остальные... об остальных не говорили. Остальные просто исчезали из кладки, и никто не спрашивал, куда.

Он оделся в лучшее, что у него было, — чистый ремень, начищенную пряжку, — и вышел. Коридоры уже были полны. Воины, жрецы, распорядители — все шли в одну сторону, вверх, к внутреннему кольцу. Никто не разговаривал. Только шаги, только дыхание, только далёкий, ровный стук большого сердца.

Внутреннее кольцо встретило их запахом благовоний — густым, сладким, дурманящим. Тер-Аккан никогда раньше не чувствовал ничего подобного. В топях пахло тиной и дымом, в нижних кольцах — сыростью и рыбой, здесь же пахло так, будто кто-то сжёг целый лес цветов и развеял пепел по воздуху. От этого запаха кружилась голова и хотелось одновременно спать и плакать.

Зал был полон. Воины стояли вдоль стен, жрецы — в центре, вокруг возвышения из полированной кости. На возвышении лежали яйца — семь, — и каждое светилось изнутри ровным, тёплым светом. А над ними, в воздухе, висело что-то. Тер-Аккан не сразу понял, что это. Потом понял: пар. Густой, сладкий пар, поднимавшийся от яиц и складывавшийся в причудливые фигуры — то в змею, то в птицу, то в нечто такое, для чего у него не было названия.

— Смотри, — прошептал кто-то рядом. — Смотри, сейчас начнётся.

Жрецы подняли посохи. Побеги на них зашевелились, потянулись к яйцам, и в зале стало тихо — так тихо, что Тер-Аккан услышал, как где-то в стене капает вода. Потом жрецы запели. Не словами — звуком, низким, вибрирующим, от которого дрожали кости. И яйца отозвались. Свет внутри них стал ярче, задрожал, и по скорлупе побежали тонкие линии — те самые, прямые, ровные.

Тер-Аккан смотрел и чувствовал, как у него холодеет внутри. Он уже видел такие линии. Сегодня утром. На камешке. И на яйце в нише, где трещина шла поперёк.

— Распознавание, — прошептал жрец, стоявший рядом. — Матка выбирает. Кто достоин — тот останется. Кто нет — того заберут.

— Куда заберут? — спросил Тер-Аккан.

Жрец посмотрел на него долгим взглядом. Потом улыбнулся — той же улыбкой, что и Чан-Дур, — и ничего не ответил.

Песня стала громче. Яйца задрожали. И вдруг одно из них — то, что стояло крайним, — погасло. Свет внутри него погас разом, как гаснет свеча, и скорлупа стала серой, мёртвой, безжизненной. Жрецы замолчали. В зале повисла тишина.

— Одно, — сказал кто-то. — Всего одно.

— В этом сезоне — одно, — отозвался другой. — Хороший год. В прошлом было три.

Тер-Аккан смотрел на серое яйцо и чувствовал, как внутри у него что-то сжимается. Он думал о птенце, которого видел вчера. О его жёлтых глазах. О его словах: «Ты будешь помнить». Что, если это яйцо — то самое? Что, если его уже нет?

Он не знал. Но когда жрецы уносили серое яйцо, он поймал себя на том, что провожает его взглядом. И что где-то очень глубоко, под всем этим благовонием и светом, в нём шевелится не страх и не жалость, а что-то другое. Злость.

После Распознавания их отпустили. Тер-Аккан вернулся в казарму — длинный, низкий зал, где спали воины четвёртого кольца, — и застал там своего соседа, Кер-Тана. Кер-Тан был старше его на четыре сезона, шире в плечах, с изрубленным в драке гребнем и вечной усмешкой на морде. Он считался лучшим мечником кольца и лучшим собутыльником — в том порядке, в каком сам предпочитал.

— Видел? — спросил Кер-Тан, не поднимаясь с тюфяка.

— Видел.

— Одно яйцо. — Кер-Тан покачал головой. — В прошлом сезоне было три. Жрецы говорят, что это хорошо. Я им не верю.

— Почему?

— Потому что жрецы всегда говорят, что это хорошо. — Кер-Тан сел. — Погасло яйцо — хорошо. Ушёл клан — хорошо. Умер воин — хорошо. У них на всё один ответ. — Он помолчал. — А ты знаешь, что бывает с теми, кто спрашивает, почему хорошо?

— Что?

— Их уводят в кузню. — Кер-Тан посмотрел на него в упор. — И они возвращаются... не такими.

Тер-Аккан молчал. В казарме пахло потом, кожей и старой кровью. Где-то в углу храпел воин, где-то точили клинок — ровно, методично, вжик-вжик.

— Кер-Тан, — сказал он наконец. — А что находится внизу? Под всеми кольцами?

Кер-Тан замер. Потом медленно повернулся к нему.

— С чего ты взял, что там что-то есть?

— Не знаю. — Тер-Аккан пожал плечами. — Просто... когда я стою на страже, я иногда чувствую, что под нами что-то есть. Что-то большое. Оно двигается.

Кер-Тан долго смотрел на него. Потом отвёл глаза.

— Не спрашивай об этом, — сказал он тихо. — Серьёзно. Не спрашивай.

— Но почему?

— Потому что там — Нить. — Кер-Тан понизил голос так, что его слышал только Тер-Аккан. — Так говорят старики. Живой кристалл. В нём — память всех, кто был до нас. И приказ. Один приказ, которому подчиняется всё. — Он помолчал. — И ещё говорят, что иногда, очень редко, оттуда что-то поднимается. Не жрецы. Не воины. Что-то другое. — Он передёрнул плечами. — Я сам не видел. И не хочу.

Тер-Аккан хотел спросить ещё, но Кер-Тан уже отвернулся и лёг на тюфяк, давая понять, что разговор окончен.

А вечером, когда город начал засыпать, Тер-Аккан пошёл к старому ходу у западной стены. Он сам не знал, зачем идёт. Может быть, потому что не мог сидеть на месте. Может быть, потому что слова Кер-Тана о Нити не выходили у него из головы. А может быть, потому что где-то глубоко, под всем этим, что-то тянуло его туда — тихо, настойчиво, как тянет течение.

Старые ходы встретили его сыростью и темнотой. Здесь не было живых огней, не было тёплых стен, не было даже запаха Гнезда — только камень, только вода, только время. Тер-Аккан шёл медленно, держась за стену, и слушал, как капает вода.

Он не знал, сколько прошёл. Может, сотню шагов. Может, тысячу. Коридор вился, спускался, снова поднимался, и в какой-то момент Тер-Аккан понял, что не помнит, откуда пришёл.

И тогда он увидел свет.

Впереди, в конце коридора, теплилось что-то — не живой огонь, не факел, а ровное, спокойное свечение. Тер-Аккан пошёл на него и вышел в небольшую круглую пещеру. В центре её стоял камень — гладкий, чёрный, в рост воина, — и от него исходило это свечение. А у подножия камня сидела Сырая.

Худая, серая, с гладкой, будто отполированной чешуёй. Она не обернулась. Смотрела на камень.

— Ты пришёл, — сказала она тихо. — Я знала.

— Кто ты? — спросил Тер-Аккан.

— Иг-Се. — Она повернулась. Глаза у неё были серые, спокойные, и в них было что-то такое, от чего у него по спине пополз холод. — Я тебя ждала.

— Меня?

— Тебя. — Она кивнула на камень. — Он тебя зовёт. Уже давно. Ты просто не слышал.

Тер-Аккан посмотрел на камень. Чёрный, гладкий, тёплый — он чувствовал тепло даже на расстоянии. И на его поверхности, от края до края, шла тонкая, волосяная линия. Прямая. Слишком прямая.

— Что это? — прошептал он.

— Осколок, — сказала Иг-Се. — Один из многих. То, что осталось от того, что было до Гнезда. До нас. До всего.

— До Гнезда? — Тер-Аккан не понял. — Но Гнездо было всегда.

Иг-Се посмотрела на него долгим взглядом. И в этом взгляде было что-то очень старое, очень усталое — и очень печальное.

— Нет, — сказала она. — Не всегда. Когда-то здесь не было ни Гнезда, ни Матки, ни жрецов, ни воинов. Было другое. — Она помолчала. — Было то, что умело говорить с камнем. То, что строило не из кости, а из света. То, что знало небо. — Она подняла голову и посмотрела куда-то вверх, сквозь толщу камня и земли. — А потом оно ушло. Или умерло. Или спряталось. Никто не знает. Остались только осколки. Вот такие.

Тер-Аккан смотрел на камень. На тонкую, прямую линию. И вдруг ему показалось, что камень смотрит на него в ответ.

— Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что до нас здесь была другая... другая жизнь?

— Другая цивилизация, — сказала Иг-Се. — Так это называется. Другая жизнь. Другая сила. Другое знание. — Она помолчала. — И оно не умерло. Оно спит. Под нами. Глубоко. И иногда просыпается.

— И тогда что?

Иг-Се посмотрела на него. И в её глазах — серых, спокойных — было что-то такое, от чего у Тер-Аккана перехватило дыхание.

— Тогда, — сказала она, — всё меняется.

Но до этого, ещё утром, в четвёртом кольце, он видел то, о чём потом старался не думать.

Перед сменой, когда он ждал распорядителя у южных ворот, мимо него провели Сырых. Их было трое — худых, серых, с потухшими глазами, — и они несли на плечах длинный, тяжёлый жёлоб, полный горячей воды. Пар валил от них, как от котла, и они шли, согнувшись, ступая в такт, и не поднимали головы. Один из них — молодой, почти птенец, — споткнулся и чуть не уронил свой конец. Жёлтая вода плеснула на пол.

Стражник, что шёл рядом, ударил его древком копья по спине. Не сильно — так, для порядка. Молодой Сырой упал на колени, и жёлоб качнулся, и вода выплеснулась ему на ноги, и он зашипел от боли, но не закричал.

— Вставай, — сказал стражник. — Вода стынет.

Молодой встал. Взял жёлоб. Пошёл дальше. И всё это — молча, без единого слова, без единого взгляда. Так, будто это было не больно. Будто это было обычное дело. Будто так и надо.

Тер-Аккан смотрел и чувствовал, как внутри у него что-то сжимается. Он знал, что Сырые — не воины, не жрецы, не клан. Он знал, что они служат Гнезду с рождения и до смерти. Он знал, что их не считают. Но одно дело — знать, а другое — видеть вот так, вблизи, в утреннем тумане, как молодого бьют за то, что он споткнулся под непосильной ношей.

— Не смотри, — сказал ему тогда распорядитель. — Не твоё дело.

— А чьё?

— Ничьё. — Старик пожал плечами. — Так устроено. Так было всегда. Так будет.

Тер-Аккан промолчал. Но с того утра в нём поселилось что-то новое — тонкое, как волосяная трещина, — и он ещё не знал, что это. Понял только позже, много позже, когда было уже поздно: это была первая трещина в его вере. А вера, как скорлупа, не трескается пополам сразу. Она трескается по волоску, медленно, изнутри наружу — и однажды, в самый неподходящий миг, разваливается вся.

Весь день после смены Тер-Аккан ходил сам не свой. Он стоял в караулке, точил нож, смотрел в стену — и снова и снова видел жёлтые глаза птенца. «Ты будешь помнить». Что

помнить? Кого помнить? И почему эти слова сказаны были так, будто птенец знал его — знал раньше, чем он сам себя?

Он вышел к вечеру, когда Гнездо начало засыпать. В нижних кольцах уже гасили живые огни — они гасли сами, медленно, как гаснет уголёк, — и город погружался в густую, тёплую темноту. Тер-Аккан шёл без цели, просто чтобы идти, и ноги сами привели его к старому ходу у западной стены, туда, где начинались заброшенные коридоры.

Он остановился. Здесь пахло сыростью и камнем — не так, как в Гнезде, а по-другому, древнее. Стены были шершавыми, в трещинах, и не светились. И в этой темноте, где-то далеко, капала вода.

— Ты пришёл, — сказал тихий голос.

Тер-Аккан обернулся. В темноте, у стены, сидела Сырая. Худая, серая, с гладкой, будто отполированной чешуёй. Она смотрела прямо — так, как смотрят те, кому уже нечего терять.

— Кто ты? — спросил он.

— Иг-Се. — Она чуть улыбнулась. — Я тебя ждала.

— Меня?

— Тебя. — Она кивнула. — С того утра, как ты ударил в гонг. Я знала, что ты придёшь. Тебе нужно было прийти.

Тер-Аккан молчал. В темноте капала вода. Где-то далеко, в глубине Гнезда, ровно стучало большое сердце.

— Зачем? — спросил он наконец.

— Потому что ты видел то, чего не видели другие, — сказала Иг-Се. — И потому что теперь ты не сможешь это забыть. — Она поднялась. — Иди за мной. Я покажу тебе то, что ты должен увидеть.

— Куда?

— Туда, где Гнездо помнит, — сказала она. — Туда, где всё началось.

Она повернулась и пошла в темноту. Тер-Аккан постоял секунду — а потом пошёл за ней.

Он не знал ещё, что этот день — первый день конца. Никто не знал. Даже те, кто должен был знать.

ГЛАВА 2. Чешуя над хребтом

Гора — это свобода, которая забыла, зачем она стоит.

Западные топи лежали между морем и хребтом, как ладонь, в которую налили воды и забыли вылить. Тысячу лет клан Терр ходил по этой ладони и знал её наизусть — каждую кочку, каждую заводь, каждый перешеек, за который дрались ещё его прадеды. Здесь не строили городов. Здесь вообще ничего не строили: строить в топях — значит признать, что ты собираешься остаться. А клан Терр оставаться не собирался. Он собирался жить.

Жить в топях — это ремесло. Не всякий его осилит. Топи не любят тех, кто торопится: они затягивают, засасывают, обманывают твёрдой на вид кочкой, которая проваливается под ногой. Топи не любят тех, кто боится: они чуют страх, как чуют его звери, и отвечают на него холодом и туманом. Топи любят тех, кто умеет ждать. Тех, кто знает, что вода — это не препятствие, а дорога, если идти по ней правильно. Тех, кто слышит, как дышит болото, и не мешает ему дышать.

Клан Терр умел ждать. Клан Терр умел слушать. Клан Терр умел жить там, где другие умирали, — и это было его главное богатство, большее, чем оружие, большее, чем кости, большее, чем память о предках.

Тер-Аккан помнил тот день, когда ему исполнилось шесть сезонов, так ясно, будто это было вчера. Отца он запомнил смутно — большой, тёмный, с изрубленным гребнем, пахнущий тиной и дымом. Помнил, как отец посадил его себе на плечо и сказал: «Смотри, сын. Это наша земля. Не потому, что мы её взяли. А потому, что мы её не отдадим». Потом отца не стало. В топях это случается быстро и без объяснений. Клан не устраивал тризны — просто вырезал его имя в кости старого дерева, что росло на перешейке между двумя заводями, и пошёл дальше. Горе в топях не нянчат. Его несут на плечах вместе с поклажей.

Мать Тер-Аккана звали Тер-Мара. Она была из клана Терр, как и все здесь, и она умела делать три вещи лучше всех: плести сети, находить съедобные корни и молчать. Последнее было самым важным. В топях тот, кто много говорит, либо глуп, либо мёртв. Тер-Мара говорила мало, но когда говорила — её слушали. Она научила Тер-Аккана всему, что он знал о воде: как читать её цвет, как слышать её течение, как находить твёрдое дно там, где его нет. Она же научила его главному: не бери из топей больше, чем нужно. Топи отдают ровно столько, сколько им можно отдать. Кто берёт больше — тот тонет.

К шестнадцати сезонам Тер-Аккан знал три вещи, которые должен знать каждый воин Терра. Первая: топи кормят того, кто умеет ждать. Вторая: в топях нельзя бежать прямо — только зигзагом, потому что прямо бегут только те, за кем никто не гонится. И третья, самая важная: дикий тиранн не охотится на того, кто пахнет своим. Пахни своим — и он пройдёт мимо. Пахни чужим — и он придёт за тобой.

Этим трём вещам его научил дед — Тер-Онг, вождь клана, старый, но ещё крепкий, с глазами ясными, как вода в заводи. Дед был из тех, кто не говорит лишнего, но каждое его слово западало в память, как камень в ил. Он учил внука не оружию — оружию учили все, — а тому, что было важнее: как стоять. Как дышать. Как смотреть. Как не бояться темноты, потому что темнота — это не враг, а просто темнота.

— Воин, который боится темноты, — говорил дед, — это не воин. Это корм, который умеет ходить. Тьма не кусает. Кусает то, что в ней прячется. И чтобы это увидеть, не нужны глаза. Нужно спокойствие.

Тер-Аккан учился спокойствию долго. Дольше, чем оружию. И всё равно, когда он впервые увидел машину, спокойствие ему не помогло.

В тот сезон клан стоял на большом перешейке у самого хребта — там, где топи кончались и начинался камень. Это было опасное место. С одной стороны — вода и корм, с другой — горы, из которых спускались дикие тиранны, те самые, которых жрецы в Гнезде называли «машинами» и на которых охотились ради чести и ради мяса. Никто не знал точно, откуда они берутся в горах. Старики говорили, что их выводили когда-то очень давно, ещё до Гнезда, и что они ушли в горы и одичали, и что теперь они уже не машины, а просто звери, только слишком умные для зверей. Молодые не верили. Молодым вообще свойственно не верить в то, что было до них.

Тер-Аккан был из молодых.

В то утро он проснулся от того, что земля под ним дрожала. Не сильно — так, как дрожит вода в котле перед закипанием. Он вылез из шкуры, натянул ремень с ножом и выглянул наружу. Клан уже был на ногах. Женщины сбивали детей в кучу у большой заводы, старики разбирали копья, а старый вождь — Тер-Онг, дед Тер-Аккана по матери, — стоял на кочке и смотрел в сторону хребта, приложив к глазам ладонь.

— Один, — сказал Тер-Онг, не оборачиваясь. — Молодой. Идёт с севера, по гребню. Голодный.

— Машина? — спросил кто-то.

— Машина, — сказал вождь. — Только дикая. — Он опустил руку и посмотрел на внука. — Тер-Аккан. Подойди.

Тер-Аккан подошёл. Дед был стар, но ещё крепок, и глаза у него были ясные, как вода в заводи.

— Тебе шестнадцать, — сказал он. — Пора.

— Пора что?

— Убить свою первую машину. — Дед кивнул в сторону хребта. — Вон она. Одна. Молодая. Если клан убьёт её всем скопом — это будет мясо. Если ты убьёшь её один — это будет метка. Понял разницу?

Тер-Аккан посмотрел на хребет. Там, на гребне, между двумя скалами, что-то двигалось — большое, тёмное, тяжело переставляющее лапы. Сердце у него упало куда-то в живот и там осталось.

— Понял.

— Тогда иди. И запомни: не беги прямо. Пахни своим. И бей в горло, а не в брюхо. В брюхо бьют те, кто хочет поскорее. Поскорее — это не про нас.

Тер-Аккан кивнул, взял копьё и пошёл.

Мать вышла проводить его до края лагеря. Она ничего не сказала — только посмотрела ему в глаза долгим взглядом и сунула в руку маленький амулет из кости: череп болотной птицы на ремешке. Тер-Аккан повесил его на шею и пошёл. Он не обернулся. В топях не оборачиваются. Обернуться — значит показать, что боишься не вернуться.

Топи кончились быстро. За последним перешейком начинался камень — серый, тёплый от солнца, покрытый лишайником и трещинами. Тер-Аккан шёл вверх, вдоль ручья, что стекал с хребта, и старался ступать так, как учил дед: мягко, но не крадучись. Крадущийся пахнет страхом. А страх — это чужой запах. Тиранн придёт на него, как на приманку.

Он шёл долго. Солнце поднялось и стало припекать. Камень под ногами нагрелся, и от него шёл лёгкий пар. Где-то высоко, над хребтом, кружила птица — большая, тёмная, с широкими крыльями. Тер-Аккан смотрел на неё и думал о том, что она, наверное, видит машину сверху. И его тоже видит. И, может быть, уже знает, кто из них двоих не вернётся.

Он нашёл её у расщелины. Молодая машина, ещё не обросшая бронёй до конца, с гладкой, блестящей чешуёй и длинными, чуть кривыми когтями. Она стояла над тушей какого-то зверя и рвала её, урча. Услышав шаги, она подняла голову — огромную, с двумя рядами зубов,

с глазами, в которых не было ни злобы, ни голода, а только холодное, изучающее внимание. Так смотрит на тебя не зверь. Так смотрит на тебя тот, кто решает, съесть тебя сейчас или подождать.

Тер-Аккан остановился. Пахло падалью, тиной и чем-то ещё — горячим, металлическим, как пахнет кровь на камне. Он поднял копьё. Машина опустила голову и шагнула к нему.

Он не побежал. Он сделал то, чему учил дед: присел, широко расставил ноги и замер. Пахни своим. Он подумал о клане — о деде, о костре, о заводе, о шкуре, в которой спал, — и вдруг ему показалось, что он и вправду пахнет этим: дымом, тиной, своим. Машина остановилась в трёх шагах. Наклонила голову. Принюхалась.

И в этот миг Тер-Аккан ударил.

Не в горло — он не достал бы. Он ударил снизу, в мягкую складку под челюстью, туда, где у молодой машины ещё не наросла броня. Копьё вошло легко, слишком легко, и на секунду ему показалось, что он промахнулся и попал в воздух. Потом машина заревела — так, что у него заложило уши, — и рванулась, и копьё вырвало у него из рук, и он покатился по камню, а сверху, обрушивая камни, уже шла на него туша.

Он успел откатиться. Когти прошли в ладони от его бока, выбили искры из камня. Машина развернулась, тяжело, неуклюже — молодая, ещё не научившаяся убивать быстро, — и Тер-Аккан, не думая, схватил первый попавшийся камень и швырнул ей в морду. Камень попал в глаз. Машина мотнула головой, и он, воспользовавшись этой секундой, вскочил и прыгнул ей на спину.

Он не знал, зачем он это сделал. Наверное, от страха. Наверное, от того, что бежать было некуда, а стоять — глупо. Он вцепился в гребень, и машина под ним взвилась, закрутилась, пытаясь сбросить его, и он держался изо всех сил, вбив когти в чешую, и чувствовал, как под ним ходят огромные мышцы, как ревёт под ним глотка, как пахнет от неё горячим и металлическим.

А потом он увидел шею. Голую, там, где чешуя расходилась, — уязвимое место, которое есть у всякой машины, даже у самой бронированной. Он рванулся вперёд, перехватил рукой за гребень, подтянулся и ударил ножом — коротко, снизу вверх, в самое основание черепа.

Машина замерла. Задрожала. И осела.

Тер-Аккан скатился с неё, лёг на спину и долго смотрел в небо, тяжело дыша. Руки тряслись. В ушах звенело. Где-то очень высоко, над хребтом, кружила птица.

Он убил. Впервые убил сам. И это было не так, как он думал. Не было ни торжества, ни гордости. Была только усталость, тошнота и странное, тянущее чувство в груди, будто он что-то потерял и не знает, где искать.

Он лежал на камне и смотрел в небо. Птица всё кружила. Солнце клонилось к западу. Где-то далеко, внизу, в топях, дымил костёр клана. И Тер-Аккан вдруг подумал: а что, если это была не машина? Что, если это было живое существо, которое просто шло по своим делам и не хотело его убивать? Что, если оно просто было голодным?

Он сел. Посмотрел на тушу. Машина лежала на боку, и из-под челюсти у неё текла кровь, тёмная, густая. Глаз, в который попал камень, был закрыт. Второй — открыт — смотрел в небо. И в этом глазу не было ни злобы, ни боли. Только удивление. Будто она не понимала, как это могло случиться.

— Прости, — прошептал Тер-Аккан. Он сам не знал, зачем это говорит. В топях не просят прощения у добычи. Но он сказал. И ему стало немного легче.

Когда он вернулся в лагерь, его встретили молчанием. Дед вышел навстречу, осмотрел его — всего, с ног до головы, — потом посмотрел на тушу, что тащили следом воины, и кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Не в брюхо.

И тогда клан заревел. Женщины завыли, застучали в ладоши, старики затопали ногами, дети завизжали и запрыгали. Тер-Аккана подхватили на руки и понесли к костру. Ему дали первую чашу — горькую, обжигающую, — и он выпил её до дна, как мужчина. Ему вырезали на плече метку: круг с тремя когтями внутри. Метка Гнезда. Знак того, что клан Терр признал его воином.

Пир длился всю ночь. Жгли костры, жарили мясо, пели песни. Старики рассказывали истории о великих охотниках прошлого, о кланах, которые ушли в топи и не вернулись, о машинах, которые спускались с гор и уходили обратно. Женщины плясали вокруг огня. Дети бегали и визжали. И Тер-Аккан сидел в центре, у самого большого костра, и чувствовал, как на него смотрят — с уважением, с завистью, с чем-то ещё, чего он не мог назвать.

А потом, когда все начали расходиться, к нему подсел дед.

— Ты сегодня убил машину, — сказал он тихо. — Это хорошо. Но запомни одну вещь, внук. Машины — не враги. Они — просто звери, которых когда-то сделали умными. Врагов ты ещё не видел.

— А кто враг? — спросил Тер-Аккан.

Дед долго молчал, глядя в огонь.

— Тот, кто их делает, — сказал он наконец. — Тот, кто сидит в Гнезде и думает, что весь мир — это его скорлупа. — Он повернулся и посмотрел на внука в упор. — Когда-нибудь ты попадёшь в Гнездо, Тер-Аккан. Не потому, что захочешь. А потому, что оно придёт за тобой. И когда попадёшь — не забудь, откуда ты. Не забудь, чем пахнет дом.

Он встал и ушёл в темноту, а Тер-Аккан остался сидеть у костра, глядя на огонь, и в голове у него всё ещё звенел тот рев, и всё ещё пахло горячим и металлическим.

Он не знал тогда, что дед окажется прав.

Ночью, когда пир закончился и клан уснул, Тер-Аккан не пошёл в свою шкуру. Он сидел у догорающего костра и смотрел на угли. Рядом, тяжело опираясь на посох, опустилась старая Тер-Ну — шаманка клана, та, что знала травы, кости и то, о чём не говорили вслух.

— Не спится, воин? — спросила она. Голос у неё был сухой, как прошлогодний камыш.

— Не спится.

— Это хорошо. После первой машины сон — не друг. — Она помолчала, глядя в огонь. — Ты сегодня убил не зверя, Тер-Аккан. Ты убил то, что когда-то было частью большего. Ты чувствуешь это?

— Чувствую, — сказал он. — Только не понимаю.

Тер-Ну кивнула, будто ждала именно этого ответа.

— Тогда слушай. — Она подбросила в костёр ветку, и искры взлетели вверх, к звёздам. — Давно, очень давно, когда топей ещё не было, а на их месте стояло тёплое море, здесь жили те, кого мы называем Спящими. Не боги. Не звери. Что-то между. Они умели то, чего мы не умеем: говорить с камнем, растить живое из света, ходить по небу, как мы ходим по земле. — Она помолчала. — А потом что-то случилось. Никто не знает что. Может, война. Может, болезнь. Может, они сами захотели уйти. Но они ушли — вниз, в глубину, — и заснули. И всё, что от них осталось, — осколки. Вот такие, как тот камешек, что ты носишь.

Тер-Аккан вздрогнул. Он не говорил ей о камешке. Никому не говорил.

— Откуда ты знаешь? — прошептал он.

— Я старая, — сказала Тер-Ну. — Я слышу камень. Не так, как ты, — хуже. Но слышу. — Она повернулась к нему, и в её глазах, мутных, старческих, было что-то такое, от чего у него по спине пополз холод. — Он выбрал тебя, Тер-Аккан. Осколок. Он выбрал тебя ещё до того, как ты родился. И это не подарок. Это ноша. — Она помолчала. — Когда-нибудь ты поймёшь, зачем. А пока — носи. И никому не показывай.

— А Гнездо? — спросил он. — Гнездо знает о Спящих?

Тер-Ну долго молчала. Потом усмехнулась — сухо, безрадостно.

— Гнездо, — сказала она, — построено на их костях. Жрецы знают. Матка знает. Они не зря сидят в самом низу, у самой Нити. Они стерегут то, что спит. Или доят его. Я не знаю. — Она поднялась, опираясь на посох. — Но я знаю одно: когда Спящие проснутся, Гнезду конец. И, может быть, нам всем.

Она ушла в темноту, и Тер-Аккан остался один у костра. Он достал камешек и сжал в кулаке. Он был тёплым. Как всегда.

— Спящие, — прошептал он. — Значит, вот кто ты.

Камешек не ответил. Но где-то очень глубоко, под топями, под камнем, под самим временем, что-то шевельнулось — медленно, тяжело, — и Тер-Аккану показалось, что в этом движении было что-то похожее на: «Пока нет. Но скоро».

Зима пришла в топи в тот год рано.

Сначала вода в заводях покрылась тонкой, стеклянной коркой, которая ломалась под лапой с тихим хрустом. Потом корка стала толще, потом по ней пошёл снег — редкий, злой, с ветром, — и топи затихли. Затихли так, как затихают только они: не мёртво, а настороженно, будто прислушиваясь к себе. Зима в топях — это не смерть. Это сон. И тот, кто не умеет спать вместе с ними, не доживает до весны.

Клан ушёл с перешейка вглубь, к каменному хребту, где было теплее — от камня шло тепло, — и где можно было переждать самое злое время. Тер-Аккану было уже восемнадцать. Он вырос, раздался в плечах, и метка на его плече — круг с тремя когтями — затвердела и стала частью его, как чешуя. Он больше не был молоком на клыках. Он был воином.

В ту зиму дед впервые взял его на совет старейшин.

Совет собирался в большой пещере у хребта, где горел негасимый костёр — его поддерживали по очереди, день и ночь, — и где решались все дела клана. Тер-Аккан сидел в стороне, у входа, и слушал. Говорили о еде, о воде, о том, куда идти весной. Потом заговорили о Гнезде.

— Они приходят чаще, — сказал старый Тер-Кун, охотник с изрубленным лицом. — Каждый сезон. Ищут молодых.

— И что? — спросил другой. — Пусть ищут. Мы не отдаём своих.

— Они не спрашивают. Они приходят и берут.

Дед молчал, глядя в огонь. Потом сказал:

— Пока берут тех, кто согласен. Тех, кто хочет уйти. А несогласных не трогают. Пока.

— А когда начнут трогать?

— Тогда мы уйдём глубже. — Дед поднял голову. — Топи большие. Гнездо не достанет до самого дна.

Тер-Аккан слушал и чувствовал, как внутри у него что-то сжимается. Он уже слышал о Гнезде — все слышали, — но впервые понял, что оно не где-то далеко, за горами. Оно рядом. Оно смотрит. Оно ждёт.

Весной, когда снег сошёл и топи снова ожили, клан вернулся на перешеек. И в первый же тёплый день на горизонте показались всадники.

Их было пятеро. Четверо воинов в костяных доспехах, на огромных, тяжело переставляющих лапах ящерах. И пятый — жрец, в мантии из перепонок, с посохом. Они ехали медленно, уверенно, будто знали, что их не тронут. И они были правы. Клан Терр не трогал посланников Гнезда. Это было одно из тех правил, которые не обсуждают.

Дед вышел навстречу. Тер-Аккан стоял за его спиной, сжимая копьё, и смотрел.

Жрец спешился. Был он высок, сух, с двумя парами глаз, и пахло от него холодным, минеральным — тем самым запахом, который Тер-Аккан запомнил на всю жизнь. Жрец оглядел лагерь, оглядел воинов, и остановил взгляд на Тер-Аккане.

— Этот, — сказал он. — Как его имя?

— Тер-Аккан, — сказал дед. — Сын Тер-Мары. Внук мой.

— Он убил машину? Один?

— Один. В шестнадцать.

Жрец подошёл ближе. Тер-Аккан стоял неподвижно, как учили: не беги, не оправдывайся, не смотри в сторону. Но когда жрец оказался в двух шагах, он всё-таки поднял глаза — и встретился с ним взглядом.

И в этом взгляде было что-то такое, от чего у него по спине пополз холод. Не злоба. Не интерес. Что-то другое. Будто жрец смотрел не на него, а сквозь него — на что-то за его спиной, внутри него, чего он сам не видел.

— Хороший воин, — сказал жрец. — Сильный. Терпеливый. — Он чуть улыбнулся. — Нам такие нужны.

— Он останется здесь, — сказал дед.

Жрец повернулся к нему. Улыбка не исчезла.

— Пока, — сказал он. — Пока останется.

Они уехали. Клан долго молчал. А Тер-Аккан стоял на перешейке и смотрел им вслед, и в ушах у него всё ещё звучало это «пока».

Летом Тер-Аккан впервые увидел Гнездо близко.

Он ходил на охоту в предгорья — один, как взрослый, — и забрался выше, чем следовало. С гребня открывался вид на долину, и в этой долине, среди болот, стояло оно. Серое. Огромное. Живое. Оно дышало — он видел, как поднимаются и опадают его рёбра, — и от него шёл пар, и над ним висел туман, и в этом тумане двигались тени.

Тер-Аккан стоял и смотрел очень долго. Он думал о том, что где-то там, внутри, сидят те, кто делает машин. Те, кто держит весь мир в скорлупе. Те, о ком говорил дед. И он, Тер-Аккан, воин из западных топей, когда-нибудь войдёт туда.

Он не знал, что войдёт гораздо раньше, чем думает.

Зимой того же года произошло то, что изменило всё.

Клан Терр стоял у хребта, как обычно. Ночь была ясная, морозная, звёздная. Тер-Аккан стоял на страже у входа в пещеру, когда почувствовал, как земля под ним дрогнула. Не так, как от машины. Глубже. Будто где-то очень далеко, под землёй, что-то повернулось.

Он приложил ладонь к камню. Камень был тёплым. Тёплым в морозную ночь.

— Тер-Ну, — позвал он. — Тер-Ну, иди сюда.

Шаманка вышла. Приложила ладонь к камню. И лицо у неё медленно изменилось — стало не старым, а очень старым, древним, как сам камень.

— Просыпается, — прошептала она. — Спящие просыпаются.

— Что это значит?

— Это значит, что скоро всё изменится, — сказала она. — И что Гнездо больше не будет прежним. И мы тоже.

Она ушла в пещеру, и Тер-Аккан остался один у входа, с ладонью на тёплом камне, и смотрел в звёздное небо. Где-то там, в чёрной вышине, что-то двигалось — он не видел что, но чувствовал, — и это движение было таким же древним и терпеливым, как тепло под его ладонью.

Он не знал ещё, что через год Гнездо придёт за ним. И что дед окажется прав.

Через четыре сезона Гнездо пришло за кланом Терр. Пришло не с войной — с набором. Жрецы искали воинов для четвёртого кольца, и имя Тер-Аккана, убившего свою машину один

на один, было у них в списках. Его увезли на рассвете, вместе с ещё десятком молодых из западных топей.

Утро было серым, туманным, каким бывает только в топях. Клан вышел проводить их — молча, без песен, без плача. Так провожают тех, кто уходит навсегда. Мать стояла в стороне, сжав руки, и не смотрела на него. Тер-Аккан знал: если она посмотрит — заплачет. А плакать в топях не принято. Плач — это вода, а воду в топях не тратят зря.Дед вышел проводить его на перешеек, к старому дереву с вырезанными именами.

— Помнишь, чему я тебя учил? — спросил он.

— Помню.

— Тогда иди. И пахни своим.

Он положил руку Тер-Аккану на плечо — тяжело, коротко, — и отвернулся. Больше они не говорили.

Это было последнее, что Тер-Аккан слышал от деда. Через полгода до Гнезда дошла весть: клан Терр ушёл с перешейка вглубь топей, а куда именно — не знает никто. Может, жив. Может, нет. В топях это случается быстро и без объяснений.

Ночь перед уходом Тер-Аккан провёл с матерью.

Они сидели у костра, вдвоём, и молчали. Тер-Мара не плакала — в топях не плачут, — но руки у неё дрожали, когда она подкладывала ветки в огонь. Тер-Аккан смотрел на неё и думал о том, что она постарела. Он не замечал этого раньше. А теперь заметил: седина на гребне, морщины у глаз, тонкая, прозрачная кожа на висках.

— Мама, — сказал он.

— Молчи. — Она покачала головой. — Не надо слов. Слова — это вода. А воду в топях не тратят зря.

Она достала из-за пазухи маленький мешочек и сунула ему в руку.

— Это что?

— Травы. От лихорадки. От боли. И ещё... — Она помолчала. — От дурных снов. Будешь спать плохо — завари и выпей. Понял?

— Понял.

Она посмотрела на него долгим взглядом. Потом вдруг притянула к себе и обняла — крепко, так, как обнимают в детстве, — и Тер-Аккан почувствовал, как у него перехватывает горло.

— Пахни своим, — прошептала она. — Что бы там ни было. Пахни своим.

Она отпустила его и ушла в темноту. А Тер-Аккан остался сидеть у костра, сжимая мешочек с травами, и смотрел на огонь до самого утра.

Утром, когда повозки уже стояли у перешейка, к нему подошёл Тер-Вал — молодой воин из соседнего гнезда, которого тоже забирали в Гнездо. Он был худой, нервный, с бегающими глазами, и явно боялся.

— Тер-Аккан, — сказал он. — Ты ведь убил машину? Один?

— Убил.

— А там, в Гнезде... — Тер-Вал сглотнул. — Там страшно?

Тер-Аккан посмотрел на него. Вспомнил жреца, который смотрел сквозь него. Вспомнил «пока». Вспомнил серое яйцо, которое унесли.

— Не знаю, — сказал он честно. — Но что бы там ни было — не показывай страх. Страх — это чужой запах. На него приходят.

Тер-Вал кивнул. И всю дорогу до Гнезда он молчал, сжимая в кулаке какой-то свой амулет, и Тер-Аккан думал о том, что, может быть, никогда больше его не увидит.

Он оказался прав. Через два сезона Тер-Вал исчез. В Гнезде говорили, что он ушёл в кузню. Больше о нём не говорили ничего.

Дорога до Гнезда заняла семь дней. Их везли на повозках, запряжённых огромными, медлительными ящерами, и всю дорогу жрецы не давали им спать больше трёх часов. Тер-Аккан потом понял, зачем: чтобы не успели опомниться. Чтобы не успели подумать, куда их везут и зачем. Чтобы прибыли в Гнездо уже не воинами клана, а послушным мясом.

Он смотрел в окно повозки и запоминал. Топи сменялись равниной, равнина — холмами, холмы — каменными пустошами. На третий день он впервые увидел Гнездо издалека — серый холм на горизонте, огромный, обтекаемый, с рёбрами, уходящими в небо. Оно было похоже не на город, а на зверя, который лёг отдохнуть и не собирается вставать.

— Вот оно, — сказал жрец, сидевший напротив. — Гнездо. Ваш новый дом.

Тер-Аккан смотрел на серый холм и чувствовал, как внутри у него что-то сжимается. Не страх. Что-то другое. Предчувствие. Будто он уже видел это место. Будто оно ждало его.

На седьмой день они въехали в ворота. И Тер-Аккан, воин из западных топей, убивший свою первую машину один на один, впервые в жизни почувствовал, что попал в место, где всё — не так, как кажется.

Он не знал ещё, что останется здесь навсегда. И что Гнездо, которое он так боялся, станет для него единственным домом, который у него останется.

И вот теперь, стоя в караулке Гнезда с тёплым камешком в кулаке, Тер-Аккан впервые за четыре сезона подумал о том, что дед, наверное, был прав во всём. И о

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.